

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ТЕКСТЕ-СНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕЛЫЕ НОЧИ»

1. Любая культурная эпоха создает специфическую «грамматику», по нормам которой современникам следует поступать и осмыслять действительность. Мечтатель в романе «Белые ночи», в силу своей романтической природы, оказывается не способным постичь логику реалистического мира, что переводит его в область «неправильного», но, для Ф. М. Достоевского, не «несуществующего» — в область инобытия: герой доверяется *сну*, который не только позволяет воплотить желания, но и *воплотиться*¹ за счет сугубо мифологического отождествления «слова» и «вещи» как результата регрессии сновидца к архаическому типу восприятия мира.

В связи с этим в тексте-сне «Белые ночи» слово уравнивается с *видением* мира, что обуславливает появление целого ряда особенностей речевого уровня его повествовательной структуры, направленных на придание фразе веса воспроизводимых объектов: телесность языка мыслится мечтателем его собственным телом.

2. «Плотность фразы» достигается, в частности, за счет «разметафоризации» устойчивых клише — происходит сбой в восприятии метафоры и она понимается героем не одномоментно, а лишь в процессе мышления, что позволяет освободиться от очарования формы и критически оценить ее содержание²: «чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта неистощимая (выделено автором — ФИВ) фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки» [1:28].

Одним из приемов «разметафоризации» становится *синтаксическая деконструкция словосочетания*, которая придает максимальную ощутимость синтаксиса. Например, обращает на себя внимание семантически обусловленная мена элементов фразеологизма («дома смотрели во все окна» [1:6] = «смотреть во все глаза»), или активизация через фонетический уровень в сознании «закона предвосхищения» пословицы и не оправдание читательских надежд («О, незванный господин! Как я благословлял тебя в эту минуту!» [1:11] = «незванный гость хуже татарина»); также это может быть использование идиом в прямом, а не переносном значении (так, о палке в своих руках мечтатель говорит как о «неотразимом резоне» [1:11]) или ввод избыточных лексем в состав устойчивых выражений («слушала меня в удивлении, раскрыв глаза и ротик» [1:20], «совсем успел потеряться и сбиться с последнего толку» [1:20]).

Последний прием, применяемый в тексте достаточно систематично, строится чаще всего на уточнении, которое может напрямую осуществлять перевод нематериального, умозрительно постигаемого в чувственно осязаемый образ за счет конкретного сравнения: «он доволен (...) и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям» [1:22]; «роется, как в золе, в своих старых мечта-

¹ Отсутствие тела у мечтателя является предельным противопоставлением романтика и толпы, живущей меркантильными интересами. Культивируемое всей романтической эпохой преимущество превратилось в непреодолимую проблему: «Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!» [1:8].

² В онейрической реальности происходит дискредитация языка как способа осмысления действительности, вызванная желанием устранить тотальный контроль последнего над героем, в связи с недоверием последнего к той нормативной системе знаний, к которой происходит подключение в случае не критического понимания.

ниях» [1:28]; *«увянут мечты твои и осыплются как желтые листья с деревьев»* [1:29]; *«смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах»* [1:40]; *«уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены»* [1:23].

Сравнение оказывается смыслопорождающим: «обладать возможностью сравнения», значит, быть включенным в мир, быть включенным в связь с иными объектами мира, а в итоге — быть частью мира, то есть «быть больше самого себя»³ — «с помощью сравнения мир Достоевского предстает как связанное разнообразие, как целое, характеризующееся многокачественностью, многоуровневостью и парадоксальностью связей и отношений» [2:224].

Мечтатель, создавая онейрическую реальность вещной прибегает к еще одной возможности образного мышления: *пластическое представление абстрактных понятий, чувств, эмоций*. Например, тоска, беспокойство материализуются у него в объектах внешнего мира или в предметах обстановки: *«меня три дня мучило беспокойство, покамест я не догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего не достает мне в моем углу? Отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые, запыленные стены, потолок, завешанный паутиной (...), пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что колы у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) (...)»* [1:7]; поэтическое творчество представлено в сознании мечтателя в виде паутины: *«заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку»* [1:23]; подсознательные желания мечтателя, актуализированные встречами с Настенькой, объективировались в *«неожиданном» «господине во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки»* [1:11]: *«качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств (...)»* [1:11].

³ Следует отметить, что мечтатель ощущает свою изолированность в реальном мире именно через отсутствие аналогичности другим людям: «не человек, а знаете, какое-то существо среднего рода» [1:19], — вследствие чего оказывается невозможен контакт с обществом: «отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы?» [1:19]. Попытки сравнения с объектами природного мира («уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное и дом вместе, которое называется черепахой» [1:19]) выявляют лишь предельную степень замкнутости, отчужденности героя.

Моделирование во сне ситуации обретения связей с миром, а за счет этого и собственной ценности («Я вас обоих сравнивала. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас» [1:45]), оборачивается для мечтателя полным фиаско, невозможностью создания собственного «я» («...О, если б вы были он!». «О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!» [1:57]). Отношения Настеньки и мечтателя оказываются, в итоге, лишь сюжетной разверткой парадигмы взаимоотношений героя и общества, красочно представленной в начале повествования: «Отчего уходящий приятель (...) никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застрашали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ошетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательной ключницею?» [1:20].

Объективация героем опасных субъективных переживаний приводит к возможности переживания себя как Другого: *«позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать»* [1:22].

3. В свою очередь, эта особая позиция сновидца, который *«обычно отделяется от своего тела, и сон является ему в виде образа и фиксируется только неопределенным «психическим» глазом»* [3:34], порождает во сне несанкционированную самостоятельность слова-вещи: увязывая свое во-площение со словом-образом и позволяя ему *быть*, герой стимулирует его «творческую активность», утрачивая тем самым контроль над созданным миром — слово-образ начинает порождать собственную реальность, лишая мечтателя статуса творца.

Наиболее ярко это проявляется в *развертывании пословично-поговорочных выражений*, при котором сюжет определяется абстрактной логикой конструкции, пользующейся свободно действующими, на первый взгляд, персонажами как марионетками.

В тексте-сне мечтателя этот прием носит как локальный характер (*«бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришила мое платье к моему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше»* [1:31] или старый жилец *«умел молчать лучше вас, правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему нельзя было жить на свете, он и умер»* [1:31]), так и выполнять сюжетообразующую функцию: Настенька и «молодой жилец» обращают внимание друг на друга именно после слов бабушки: *«Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты»* [1:32], — в которых она высказывает недвусмысленные намерения «пристроить» Настеньку замуж; при всей видимой невнимательности Насти и «молодого жильца» к скрытым коннотациям бабушкиных реплик (*«Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня недоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец?»* [1:32] финал их «несостоявшегося романа» показывает адекватное считывание изначального бабушкиного послыла: *«Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель»* [1:32].

4. Лишившись власти над творимым во сне миром, мечтатель утрачивает и столь тщательно конструируемое тело, так как еще одной непредвиденной героем стороной иконического знака в специфической сфере реализации — памяти — становится *тождество между различными временными пластами* на основании их сходной эмоциональной модальности, в результате чего образы становятся неустойчивыми: так *«сучковатая палка»* в руках героя, ставшая *«неотразимым резонансом»* в противостоянии мечтателя и *«незваного господина»*, при всей неожиданности и немотивированности своего появления, в реальности языка была предуготовлена задолго до данного события *«длинной сучковатой тростью с золотым набалдашником»* [1:6] у старичка, а затем и *«шлагбаумом»* («сломленное дерево»), маркирующим границу между городом и природой, смертью и жизнью.

Итак, следует признать, что «примитивное мышление» сна, подобно «феноменологической редукции» призванное мечтателем к созданию возможности обладания «глубинной истиной», сущностью вещей, приводит вовсе не к застытию их в неподвижно-величественной форме-теле, «копии» платоновской «идеи», а к выявлению динамической структуры, «неподвижной диалектике» симулякров и их «безумного становления», чреватой бесконечными превращениями.

Устойчивость и плотность слово-образов во сне оказывается обманчивой: сфера, где царит чистое подобие, вытягивает и героя в игру ценностными позициями, в результате чего им утрачивается способность к самоидентификации: *«Я вас обоих сравнивала. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас»* [1:45] — *«О если б вы были он!»*. *«О, если б он были вы!»* — *пролетело*

в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!» [1:57]. Стремление мечтателя обрести тело обернулось, в итоге, потерей самости.

Примечания:

1. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 30 тт. Т.1.
2. Кожевникова Н.А. Сравнения в произведениях Достоевского // Достоевский и современность. — Новгород, 1991.
3. Lewin B. D. The image and the past. — New York, 1968.

© Шильникова Т.В.
г. Сургут

ПРАВЕДНИЧЕСТВО ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО В ЦЕРКОВНЫХ СОЧИНЕНИЯХ XIX В.

Интересной, пользующейся постоянным читательским вниманием частью русской литературы являлись произведения, связанные с православной тематикой. Особенно частым было обращение к житиям святых и повестям о праведничестве. В поисках идеального героя в православной среде писатели XIX в. создают беллетризированные биографии подвижников прошлого, чей жизненный путь и личностные характеристики должны были стать основой для подражания. Среди таких деятелей выделяется личность Иоанна Максимовича, которому было посвящено несколько пространных сочинений, изданных на протяжении XIX — начала XX в. в местах, связанных с его церковно-служебной и проповеднической деятельностью на Украине, Урале и в Сибири. Биография отца церкви была, с одной стороны, типична для церковного деятеля XVII в., но вместе с тем впечатляло его непрерывное подвижничество в различных сферах деятельности. На значение подвижничества Иоанна Максимовича для урало-сибирской епархии обращали внимание В. Софронов и Н. Абрамов [1], [2].

Иоанн Максимович родился в январе 1653 г. в небогатой дворянской семье на Украине, в г. Нежине Черниговской губернии. Богословское образование получил в Киевской духовной академии. Способности Иоанна оказались замеченными и востребованными не только церковной, но и светской властью. По поручению гетмана Мазепы в 1677 г. в составе украинской делегации он отправился в Москву просить защиты от турецкого нашествия у московского царя Федора Алексеевича.

В 1695 г. Иоанн Максимович был назначен архимандритом в Черниговский Елецкий монастырь, где позднее основал славяно-латинскую школу. Именно в Черниговской епархии он пишет и издает многие все свои сочинения: «Алфавит» (1705 г.) — стихотворный сборник житий святых, посвященный царевичу Алексею Петровичу; «Богородице Дево» (1707 г.) — толкование канона и описание чудес Богородицы; «Феатрон, или Позор нравоучительный» (1708 г.) — рассказы из Священного Писания; «Синаксарь» (1710 г.) — поэтическое произведение, посвященное полтавской битве. Неизданным остается его автобиографическое повествование в стихах «Путник», написанное после отъезда из Чернигова. Иоанн Максимович свободно творил в стихах и в прозе, отдавая предпочтение поэзии. Пожалуй, он был самым плодовитым поэтом начала XVIII века, некоторые современники даже считали его графоманом.

В августе 1711 года митрополит Иоанн прибыл в Тобольск на двух небольших дощаниках и остановился напротив Знаменского монастыря. Здесь его встретили воевода Иван Фомич Бибилов, тобольское духовенство и граждане Тобольска. Будучи воспитанником Киево-Печерской лавры, Иоанну Максимовичу хотелось передать сибирскому духовенству ее традиции. Хотя в Тобольске он служил около 4-х лет, за этот срок ему многое удалось сделать для своей паствы и церкви. Особое внимание его привлекла славяно-латинская школа, основанная в 1703 г. в Тобольске митропо-